

Владимир Маяковский Хорошо!

Октябрьская поэма.

1

Время —
вещь
необычайно длинная, —
были времена —
прошли былинные.
Ни былин,
ни эпосов,
ни эпопей.
Телеграммой
лети,
строфа!
Воспаленной губой
припади
и попей
из реки
по имени — «Факт».
Это время гудит
телеграфной струной,
это
сердце
с правдой вдвоем.
Это было
с бойцами,
или страной,
или
в сердце
было
в моем.
Я хожу,
чтобы, с этою
книгой побыв,
из квартирного
мирка
шел опять
на плечах
пулеметной пальбы,
как штыком,
строкой
просверкав.
Чтоб из книги,
через радость глаз,
от свидетеля
счастливого, —
в мускулы

усталые
лилась
строящая
и бунтующая сила.
Этот день
воспевать
никого не найдем.
Мы
распнем
карандаш на листе,
чтобы шелест страниц,
как шелест знамен,
надо лбами
годов
шелестел.

2

"Кончайте войну!
Довольно!
Будет!
В этом
голодном году —
невмоготу.
Врали:
"народа —
свобода,
вперед,
эпоха, заря..." —
и зря.
Где
земля,
и где
закон,
чтобы землю
выдать
к лету? —
Нету!
Что же
дают
за февраль,
за работу,
за то,
что с фронтов
не бежишь? —
Шиш.
На шее
кучей
Гучковы,
черти,
министры,
Родзянки...

Мать их за ноги!
Власть
к богатым
рыло
воротит —
чего
подчиняться
ей?!
Бей!!"
То громом,
то шепотом
этот ропот
сползал
из Керенской
тюрьмы-решета.
в деревни
шел
по травам и тропам,
в заводах
сталью зубов скрежетал.
Чужие
партии
бросали швырком.
— На что им
сбор
болтунов дался?! —
И отдавали
большевикам
гроши,
и силы,
и голоса.
До самой
мужичьей
земляной башки
докатывалась слава, —
лилась
и слыла,
что есть
за мужиков
какие-то
«большаки»
— у-у-у!
Сила! —

3

Царям
дворец
построил Растрелли.
Цари рождались,
жили,
старели.

Дворец
не думал
о вертлявом постреле,
не гадал,
что в кровати,
царицам вверенной,
раскинется
какой-то
присяжный поверенный.
От орлов,
от власти,
одеял и кружевца
голова
присяжного поверенного
кружится.
Забывши
и классы
и партии,
идет
на дежурную речь.
Глаза
у него
бонапартьи
и цвета
защитного
френч.
Слова и слова.
Огнесловая лава.
Болтает
сорокой радостной.
Он сам
опьянен
своею славой
пьяней,
чем сорокаградусной.
Слушайте,
пока не устанете,
как щебечет
иной адъютантик:
"Такие случаи были —
он едет
в автомобиле.
Узнавши,
кто
и который, —
толпа
распрягла моторы!
Взамен
лошадиной силы
сама
на руках носила!"
В аплодисментном

плеске
премьер
проплывет
над Невским.
и дамы,
и дети-пузанчики
кидают
цветы и розанчики.
Если ж
с безработы
загруститесь,
сам
себя
уверенно и быстро
назначает —
то военным,
то юстиции,
то каким-нибудь
еще
министром.
И вновь
возвращается,
сказав,
ворочать дела
и вертеть казну.
Подмахивает подписи
достойно
и старательно.
"Аграрные?
Беспорядки?
Ряд?
Пошлите,
этот,
как его, —
карательный
отряд!
Ленин?
Большевики?
Арестуйте и выловите!
Что?
Не дают?
Не слышу без очков.
Кстати...
об его превосходительстве...
Корнилове...
Нельзя ли
сговориться
сюда
казачков?!.
Их величество?
Знаю.
Ну да!..

И руку жал.
Какая ерунда!
Императора?
На воду?
И черную корку?
При чем тут Совет?
Приказываю
туда,
в Лондон,
к королю Георгу".
Пришит к истории,
пронумерован
и скреплен,
и его
рисуют —
и Бродский и Репин.

4

Петербургские окна.
Синё и темно.
Город
сном
и покоем скован.
НО
не спит
мадам Кускова.
Любовь
и страсть вернулись к старушке.
Кровать
и мечты
розоватит восток.
Ее
волос
пожелтые стружки
причудливо
склеил
слезливый восторг.
С чего это
девушка
сохнет и вянет?
Молчит...
но чувство,
видать, велико.
Ее
утешает
усатая няня,
видавшая виды, —
Пе Эн Милюков.
"Не спится, няня...
Здесь так душно...
Открой окно

да сядь ко мне".
— Кускова,
что с тобой? —
"Мне скушно...
Поговорим о старине".

— О чем, Кускова?
Я,
бывало,
хранила
в памяти
немало
старинных былей,
небылиц —
и про царей
и про цариц.
И я б,
с моим умишком хилым, —
короновала б
Михаила.
чем брать
династию
чужую...
Да ты
не слушаешь меня?! —
"Ах, няня, няня,
я тоскую.
Мне тошно, милая моя.
Я плакать,
я рыдать готова..."
— Господь помилуй
и спаси...
Чего ты хочешь?
Попроси.
Чтобы тебе
на нас
не дуться,
дадим свобод
и конституций...
Дай
окроплю
речей водою
горящий бунт... —
"Я не больна.
Я...
знаешь, няня...
влюблена..."
— Дитя мое,
господь с тобою! —
И Милюков
ее
с мольбой

крестил
профессорской рукой.
— Оставь, Кускова,
в наши лета
любить
задаром
смысла нету. —
«Я влюблена». —
шептала
снова
в ушко
профессору
она.
— Сердечный друг,
ты нездорова. —
"Оставь меня,
я влюблена".
— Кускова,
нервы, —
полечись ты... —
"Ах няня,
он такой речистый...
Ах, няня-няня!
няня!
Ах!
Его же ж
носят на руках
А как поет он
про свободу...
Я с ним хочу, —
не с ним,
так в воду".
Старушка
тычется в подушку,
и только слышно:
" Саша! —
Душка!"
Смахнувши
слезы
рукавом,
взревел усатый нянь:
— В кого?
Да говори ты нараспашку! —
«В Керенского...»
— В какого?
В Сашку? —
И от признания
такого
лицо
расплылось
Милюкова.
От счастья

профессор ожил:
— Ну, это что ж —
одно и то же!
При Николае
и при Саше
мы
сохраним доходы наши. —
Быть может,
на берегах Невы
подобных
дам
видали вы?

5

Звякая
шпорами
довоенной выковки,
аксельбантами
увешанные до пупов,
говорили —
адъютант
(в «Селекте» на Лиговке)
и штанс-капитан
Попов.
"Господин адъютант,
не возражайте,
не дам, —
скажите,
чего еще
поджидаем мы?
Россию
жиды
продают жидам,
и кадровое
офицерство
уже под жидами!
Вы, конечно,
профессор,
либерал,
но казачество,
пожалуйста,
оставьте в покое.
Например,
мое положение беря,
это...
черт его знает, что это такое!
Сегодня с денщиком:
ору ему
—эй,
наваксь
щиблетину,

чтоб видеть рыло в ней! —
И конечно —
к матушке,
а он *меня*
к *моей* ,
к матушке,
к свет
к Елизавете Кирилловне!"
"Нет,
я не за монархию
с коронами,
с орлами,
НО
для социализма
нужен базис.
Сначала демократия,
потом
парламент.
Культура нужна.
А мы —
Азия-с!
Я даже —
социалист.
Но не граблю,
не жгу.
Разве можно сразу?
Конечно, нет!
Постепенно,
понемногу,
по вершочку,
по шажку,
сегодня,
завтра,
через двадцать лет.
А эти?
От Вильгельма кресты да ленты.
В Берлине
выходили
с билетом перронным.
Деньги
штаба —
шпионы и агенты.
В Кресты бы
тех,
кто ездит в пломбированном!"
"С этим согласен,
это конечно,
этой сволочи
мало повешено".
"Ленина,
который
смуту сеет,

председателем,
што ли,
совета министров?
Что ты?!
Рехнулась, старушка Рассея?
Касторки прими!
Поправьсь!
Выздоровь!
Офицерам —
Суворова,
Голенищева-Кутузова
благодаря
политикам ловким
быть
под началом
Бронштейна бескартузого,
какого-то
бесштанного
Лёвки?!
Дудки!
С казачеством
шутки плохи —
повыпускаем
им
потроха..."
И все адъютант
—ха да хи —
Попов
—хи да ха. —
"Будьте дважды прокляты
и трижды поколейте!
Господин адъютант,
позвольте ухо:
их
...ревосходительство
...ерал Каледин,
с Дону,
с плеточкой,
извольте понюхать!
Его превосходительство...
Да разве он один?!
Казачество кубанское,
Днепр,
Дон..."
И все стаканами —
дон и динь,
и шпорами —
динь и дон.
Капитан
упился, как сова.
Челядь
чайники

бесшумно подавала.
А в конце у Лиговки
другие слова
подымались
из подвалов.
"Я,
товарищи, —
из военной бюры.
Кончили заседание —
тока-тока.
Вот тебе,
к маузеру,
двести бери,
а это —
сто патронов
к винтовкам.
Пока соглашатели
замазывали рты,
подходит
казатчина
и самокатчина.
Приказано
питерцам
идти на фронты,
а сюда
направляют
с Гатчины.
Вам,
которые
с Выборгской стороны,
вам
заходить
с моста Литейного.
В сумерках,
тоньше
дискантовой струны,
не галдеть
и не делать
заведенья питейного.
Я
за Лашевичем
беру телефон, —
не задушим,
так нас задушат.
Или
возьму телефон,
или вон
из тела
пролетарскую душу.
Сам
приехал,
в пальтишке рваном, —

ходит,
никем не опознан.
Сегодня,
говорит,
подыматься рано.
А послезавтра —
поздно.
Завтра, значит.
Ну, не сдобровать им!
Быть
Керенскому
биту и ободрану!
Уж мы
подыдем
с царёвой кровати
эту
самую
Александру Федоровну".

6

Дул,
как всегда,
октябрь
ветрами
как дуют
при капитализме.
За Троицкий
дули
авто и трамы,
обычные
рельсы
вызмеив.
Под мостом
Нева-река,
по Неве
плывут кронштадтцы...
От винтовок говорка
скоро
Зимнему шататься.
В бешеном автомобиле,
покрышки сбивши,
тихий,
вроде
упакованной трубы,
за Гатчину,
забившись,
улепетывал бывший —
"В рог,
в бараний!
Взбунтовавшиеся рабы!.."
Видят

редких звезд глаза,
окружая
Зимний
в кольца,
по Мильонной
из казарм
надвигаются кексгольмцы.
А в Смольном,
в думах
о битве и войске,
Ильич
гримированный
мечет шажки,
да перед картой
Антонов с Подвойским
втыкают
в места атак
флажки.
Лучше
власть
добром оставь,
никуда
тебе
не деться!
Ото всех
идут
застав
к Зимнему
красногвардейцы.
Отряды рабочих,
матросов,
голи —
дошли,
штыком домерцав,
как будто
руки
сошлись на горле,
холёном
горле
дворца.
Две тени встало.
Огромных и шатких.
Сдвинулись.
Лоб о лоб.
И двор
дворцовый
руками решетки
стиснул
торс
толп.
Качались
две

огромных тени
от ветра
и пуль скоростей, —
да пулеметы,
будто
хрустенье
ломаемых костей.
Серчают стоящие павловцы.
"В политику...
начали...
баловаться...
Куда
против нас
бочкаревским дурам?!
Приказывали б
на штурм".
Но тень
боролась,
спутав лапы, —
и лап
никто
не разнимал и не рвал.
Не выдержав
молчания,
сдавался слабый —
уходил
от испуга,
от нерва.
Первым,
боязнью одолен,
снялся
бабий батальон.
Ушли с батарей
к одиннадцати
михайловцы или константиновцы...
А Керенский —
спрятался,
попробуй
вымань его!
Задумывалась
казачья башка.
И
редели
защитники Зимнего,
как зубья
у гребешка.
И долго
длилось
это молчанье,
молчанье надежд
и молчанье отчаянья.
А в Зимнем,

в мягких мебелих
с бронзовыми выкрутами,
сидят
министры
в меди блях,
и пахнет
гладко выбритыми.
На них не глядят
и их не слушают —
они
у штыков в лесу.
Они
упадут
переспевшей грушею,
как только
их
потрясут.
Голос — редок.
Шепотом,
знаками.
— Керенский где-то? —
— Он?
За казаками. —
И снова молча
И только
под вечер:
— Где Прокопович? —
— Нет Прокоповича. —
А из-за Николаевского
чугунного моста,
как смерть,
глядит
неласковая
Авроровых
башен
сталь.
И вот
высоко
над воротником
поднялось
лицо Коновалова.
Шум,
который
тек родником,
теперь
прибоем наваливал.
Кто длинный такой?..
Дотянуться смог!
По каждому
из стекол
удары палки.
Это —

из трехдюймовок
шарахнули
форты Петропавловки.
А поверху
город
как будто взорван:
бабахнула
шестидюймовка Авророва.
И вот
еще
не успела она
рассыпаться,
гулка и грозна, —
над Петропавловской
взвился
фонарь,
восстанья
условный знак.
– Долой!
На приступ!
Вперед!
На приступ! —
Ворвались.
На ковры!
Под раззолоченный кров!
Каждой лестницы
каждый выступ
брали,
перешагивая
через юнкеров.
Как будто
водою
комнаты полня,
текли,
сливались
над каждой потерей,
и схватки
вспыхивали
жарче полдня
за каждым диваном,
у каждой портьеры.
По этой
анфиладе,
приветствиями оранной
монархам,
несущим
короны-клады, —
бархатными залами,
раскатистыми коридорами
гремели,
бились
сапоги и приклады.

Какой-то
смущенный
сукин сын,
а над ним
путиловец —
нежней папаши:
"Ты,
парнишка,
выкладывай
ворованные часы —
часы теперича наши!"
Топот рос
и тех
тринадцать
сгреб,
забил,
зашиб,
затыркал.
Забились
под галстук —
за что им приняться? —
Как будто
топор
навис над затылком.
За двести шагов...
за тридцать...
за двадцать...
Вбегает
юнкер:
«Драться глупо!»
Тринадцать визгов:
—Сдаваться!
Сдаваться! —
А в двери —
бушлаты,
шинели,
тулупы...
И в эту
тишину
раскатившийся всласть
бас,
окрепший
над реями рея:
"Которые тут временные?
Слазь!
Кончилось ваше время".
И один
из ворвавшихся,
пенснишки тронув,
объявил,
как об чем-то простом
и несложном:

"Я,
председатель реввоенкомитета
Антонов,
Временное
правительство
объявляю низложенным".
А в Смольном
толпа,
растопырив груди,
покрывала
песней
фейерверк сведений.
Впервые
вместо:
— и это будет... —
пели:
— и это есть
наш последний... —
До рассвета
осталось
не больше аршина, —
руки
лучей
с востока взмолены.
Товарищ Подвойский
сел в машину,
сказал устало:
"Кончено...
в Смольный".
Умолк пулемет.
Угодил толков.
Умолкнул
пуль
звонящий улей.
Горели,
как звезды,
границы штыков,
бледнели
звезды небес
в карауле.
Дул,
как всегда,
октябрь ветрами.
Рельсы
по мосту вымев,
гонку
свою
продолжали трамы
уже —
при социализме.

В такие ночи,
в такие дни,
в часы
такой поры
на улицах
разве что
одни
поэты
и воры.
Сумрак
на мир
океан катнул.
Синь.
Над кострами —
бур.
Подводной
лодкой
пошел ко дну
взорванный
Петербург.
И лишь
когда
от горящих вихров
шатался
сумрак бурый,
опять вспоминалось:
с боков
и с верхов
непрерывная буря.
На воду
сумрак
похож и так —
бездонна
синяя прорва.
А тут
еще
и виденьем кита
туша
Авророва.
Огонь
пулеметный
площадь остриг.
Набережные —
пусты.
И лишь
хорохорятся
костры
в сумерках
густых.
И здесь,
где земля

от жары вязка,
с испугу
или со льда,
ладони
держа
у огня в языках,
греется
солдат.
Солдату
упал
огонь на глаза,
на клочок
волос
лег.
Я узнал,
удивился,
сказал:
"Здравствуйте,
Александр Блок.
Лафа футуристам,
фрак старья
разлазится
каждым швом".
Блок посмотрел —
костры горят —
«Очень хорошо».
Кругом
тонула
Россия Блока...
Незнакомки,
дымки севера
шли
на дно,
как идут
обломки
и жестянки
консервов.
И сразу
лицо
скупее менял,
мрачнее,
чем смерть на свадьбе:
"Пишут...
из деревни...
сожгли...
у меня...
библиотеку в усадьбе".
Уставился Блок —
и Блокова тень
глазеет,
не стенке привстав...
Как будто

оба
ждут по воде
шагающего Христа.
Но Блоку
Христос
являться не стал.
У Блока
тоска у глаз.
Живые,
с песней
вместо Христа,
люди
из-за угла.
Вставайте!
Вставайте!
Вставайте!
Работники
и батраки.
Зажмите,
косарь и кователь,
винтовку
в железо руки!
Вверх —
флаг!
Рвань —
встань!
Враг —
ляг!
День —
дрянь!
За хлебом!
За миром!
За волей!
Бери
у буржуев
завод!
Бери
у помещика поле!
Братайся,
дерущийся взвод!
Сгинь —
стар.
В пух,
в прах.
Бей —
бар!
Трах!
тах!
Довольно,
довольно,
довольно
покорность

нести
на горбах.
Дрожи,
капиталова дворня!
Тряситесь,
короны,
на лбах!

Жир
ёжъ
страх
плах!
Трах!
тах!
Тах!
тах!
Эта песня,
перепетая по-своему,
доходила
до глухих крестьян —
и вставали села,
содрогая воем,
по дороге
топоры крестя.
Но-
жи-
чком
на
месте чик
лю-
то-
го
по-
мещика.
Гос-
по-
дин
по-
мещичек,
со-
би-
райте
вещи-ка!
До-
шло
до поры,
вы-
хо-
ди,
босы,
вос-
три

топоры,
подымай косы.
Чем
хуже
моя Нина?!
Ба-
рыни сами.
Тащъ
в хату
пианино,
граммофон с часами!
Под-
хо-
ди-
те, орлы!
Будя —
пограбили.
Встречай в колы,
проводжай
в грабли!
Дело
Стеньки
с Пугачевым,
разгорайся жарче-ка!
Все
поместья
богачевы
разметем пожарчиком.
Под-
пусть
петуха!
Подымай вилы!
Эх,
не
потухай, —
пет-
тух милый!
Черт
ему
теперь
родня!
Головы —
кочаном.
Пулеметов трескотня
сыпется с тачанок.
"Эх, яблочко,
цвета ясного.
Бей
справа
белаво,
слева краснова".
Этот вихрь,

от мысли до курка,
и постройку,
и пожара дым
прибирала
партия
к рукам,
направляла,
строила в ряды.

8

Холод большой.
Зима здорова.
Но блузы
прилипли к потненьким.
Под блузой коммунисты.
Грузят дрова.
На трудовом субботнике.
Мы не уйдем,
хотя
уйти
имеем
все права.
В *наши* вагоны,
на *нашем* пути,
наши
грузим
дрова.
Можно
уйти
часа в два, —
но *мы* —
уйдем поздно.
Нашим товарищам
наши дрова
нужны:
товарищи мерзнут.
Работа трудна,
работа
томит.
За нее
никаких копеек.
Но *мы*
работаем,
будто *мы*
делаем
величайшую эпопею.
Мы будем работать,
все стерпя,
чтоб жизнь,
колёса дней торопя,
бежала

в железном марше
в *наших* вагонах,
по *нашим* степям,
в города
промерзшие
наши .
"Дяденька,
что вы делаете тут?
столько
больших дядей?"
– Что?
Социализм:
свободный труд
свободно
собравшихся людей.

9

Перед нашею
республикой
стоят богатые.
Но как постичь ее?
И вопросам
разнедоуменным
нет числа:
что это
за нация такая
«социалистичья»,
и что это за
"соци-
алистическое отечество"?
"Мы
восторги ваши
понять бессильны.
Чем восторгаются?
Про что поют?
Какие такие
фрукты-апельсины
растут
в большевицком вашем
раю?
Что вы знали,
кроме хлеба и воды, —
с трудом
перебиваясь
со дня на день?
Такого отечества
такой дым
разве уж
настолько приятен?
За что вы
идете,

если велят —
«воюй»?
Можно
быть
разорванным бомбищей,
можно
умереть
за землю за *свою* ,
но как
умирать
за общую?
Приятно
русскому
с русским обняться, —
но у вас
и имя
«Россия»
утеряно.
Что это за
отечество
у забывших об нации?
Какая нация у вас?
Коминтерна?
Жена,
да квартира,
да счет текущий —
вот это —
отечество,
райские кущи.
Ради бы
вот
такого отечества
мы понимали б
и смерть
и молодечество".
Слушайте,
национальный трутень, —
день наш
тем и хорош, что труден.
Эта песня
песней будет
наших бед,
побед,
буден.

10

Политика —
проста.
Как воды глоток.
Понимают
ощерившие

сытую пасть,
что если
в Россиях
увязнет коготок,
всей
буржуазной птичке —
пропасть.
Из «сюртэ женераль»,
из «интеллидженс Сервис»,
«дефензивы»
и «сигуранцы»
выходит
разная
сволочь и стерва,
шьет
шинели
цвета серого,
бомбы
кладет
в ранцы.
Набились в трюмы,
палубы обсели,
на деньги
вербовочного агентства.
В Новороссийск
плывут из Марселя,
из Дувра
плывут к Архангельску.
С песней,
с виски,
сыты по-свински.
Килями
вскопаны
воды холодные.
Смотрят
перископами
лодки подводные.
Плывут крейсера,
снаряды соря.
И
миноносцы
с минами носятся.
А
поверх
всех
с пушками
чудовищной длинноты
сверх-
дредноуты.
Разными
газами
воняя гадко,

тучи
пропеллерами выдрав,
с авиоматки
на авиоматку
пе-
ре-
пархивают «гидро».
Послал
капитал
капитанов ученых.
Горло
нащупали
и стискивают.
Ткнешься
в Белое,
ткнешься
в Черное,
в Каспийское,
в Балтийское, —
куда
корабль
ни тычется,
конец
катаниям.
Стоит
морей владычица,
бульдोजья
Британия.
Со всех концов
блокады кольцо
и пушки
смотрят в лицо.
– Красным не нравится?
Им
голодно?
Рыбкой
наедитесь,
пойдя
на дно. —
А кому
на суше
грабить охота,
те
с кораблей
сходили пехотой.
– На море потопим,
на суше
потопаем. —
Чужими
руками
жар гребя,
дым

отечества
пускают
пострелины —
выставляю
впереди
одураченных
ребят,
баронов
и князей недорасстрелянных.
Могилы копайте,
гроба копите —
Юденича
рати
прут
на Питер.
В обозах
еды вкуснятся,
консервы —
пуд.
Танков
гусеницы
на Питер
прут.
От севера
идет
адмирал Колчак,
сибирский
хлеб
сапогом толча.
Рабочим на расстрел,
поповнам на утехе,
с ним идут
голубые чехи.
Траншеи,
машинами выбранные,
саперами
Крым перекопан, —
Врангель
крупнокалиберными
орудует
с Перекопа.
Любят
полковников
сентиментальные леди.
Полковники
любят
поговорить на обеде.
— Я
иду, мол
(прихлебывает виски),
а на меня
десяток

чудовищ
большевицких.
Раз-одного,
другого —
рраз, —
кстати,
как дэнди,
и девушку спас. —
Леди,
спросите
у мерина сивого —
он
как Мурманск
разизнасиловал.
Спросите,
как —
Двина-река,
кровью
крашенная,
трупы
в'ытая,
с кладью
страшною
шла
в Ледовитый.
Как храбрецы
расстреливали кучей
коммуниста
одного,
да и тот скручен.
Как офицера
его величества
бежали
от выстрелов,
берег вычистя.
Как над серыми
хатами
огненные перья
и руки
холёные
туго
у горл.
Но...
"итс э лонг уэй
ту Типерери,
итс э лонг уэй
ту го!"
На первую
республику
рабочих и крестьян,
сверкая
выстрелами,

штыками блестя,
гнали
армии,
флоты катили
богатые мира,
и эти
и те...
Будьте вы прокляты,
прогнившие
королевства и демократии,
со своими
подмоченными
«фратэрнитэ» и «эгалитэ»!
Свинцовый
льется
на нас
кипяток.
Одни мы —
и спрятаться негде.
"Янки
дудль
кип ит об,
Янки дудль дэнди".
Посреди
винтовок
и орудий голосища
Москва —
островком,
и мы на островке.
Мы —
голодные,
мы —
нищие,
с Лениным в башке
и с наганом в руке.

11

Несется
жизнь,
овеевая,
проста,
суха.
Живу
в домах Стахеева я,
теперь
Веэсэнха.
Свезли,
винтовкой звякая,
богатых
и кассы.
Теперь здесь

всякие
и люди
и классы.
Зимой
в печурку-пчелку
суют
тома шекспирьи.
Зубами
щелкают, —
картошка —
пир им.
А летом
слушают асфальт
с копейками
в окне:
—Трансваль,
Трансваль,
страна моя,
ты вся
горишь
в огне! —
Я в этом
каменном
котле
варюсь,
и эта жизнь —
и бег, и бой,
и сон,
и тлен —
в домовьи
этажи
отражена
от пят
до лба,
грозою
омываемая,
как отражается
толпа
идущими
трамваями.
В пальбу
присев
на корточки,
в покой
глазами к форточке,
чтоб было
видней,
я в
комнатенке-лодочке
проплыл
три тыщи дней.

12

Ходят
спекулянты
вокруг Главтопа.
Обнимут,
зацелуют,
убьют за руп.
Секретарши
ответственные
валенками топают.
За хлебными
карточками
стоят лесорубы.
Много
дела,
мало
горя им,
фунт
—целый! —
первой категории.
Рубят,
липовый
чай
выкушав.
—Мы
не Филипповы,
мы —
привыкши.
Будет обед,
будет
ужин, —
белых бы
вон
отбить от ворот.

Есть захотелось,
пояс —
потуже,
в руки винтовку
и
на фронт. —
А
мимо —
незаменимый.
Стуча
сапогом,
идет за пайком —
Правление
выдало
урюк
и повидлю.

Богатые —
ловче,
едят
у Зунделовича.
Ни шей,
ни каш —
бифштекс
с бульоном,
хлеб
ваш,
полтора миллиона.
Ученому
хуже:
фосфор
нужен,
масло
на блюде.
Но,
как назло,
есть революция,
а нету
масла.
Они
научные.
Напишут,
вылечат.
Мандат, собственноручный,
Анатолий Васильича.
Где
хлеб
да мяса,
придут
на час к вам.
Читает
комиссар
мандат Луначарского:
"Так...
сахар...
так...
жирок вам.
Дров...
березовых...
посуше поленья...
и шубу
широкого
потребленья.
Я вас,
товарищ,
спрашиваю в упор.
Хотите —
берите
головной убор.

Приходит
каждый
с разной блажью.
Берите
пока што
ногу
лошажью!"
Мех
на глаза,
как баба-яга,
идут
назад
на трех ногах.

13

Двенадцать
квадратных аршин жилья.
Четверо
в помещении —
Лиля,
Ося,
я
и собака
Щеник.
Шапчонку
взял
оборванную
и вытащил салазки.
— Куда идешь? —
В уборную
иду.
На Ярославский.
Как парус,
шуба
на весу,
воняет
козлом она.
В санях
полено везу,
забрал
забор разломанный
Полено —
тушею,
тверже камня.
Как будто
вспухшее
колени
великанье.
Вхожу
с бревном в обнимку.
Запотел,

вымок.
Важно
и чинно
строгаю
перочинным.
Нож —
ржа.
Режу.
Радуюсь.
В голове
жар
подымает градус.
Зацветают луга,
май
поет
в уши —
это
тянется угар
из-под черных вьюшек.
Четверо сосулек
свернулись,
уснули.
Приходят
люди,
ходят,
будят.
Добудились еле —
с углей
угорели.
В окно —
сугроб.
Глядит горбат.
Не вымерзли покамест?
Морозы
в ночь
идут, скрипят
снегами – сапогами.
Небосвод,
наклонившийся
на комнату мою,
морем
заката
облит.
По розовой
глади
моря,
на юг —
тучи-корабли.
За гладь,
за розовую,
бросать якоря,
туда,

где березовые
дрова
горят.
Я
много
в теплых странах плутал.
Но только
в этой зиме
понятной
стала
мне
теплота
любовей,
дружб
и семей.
Лишь лежа
в такую вот гололедь,
зубами
вместе
проляскав —
поймешь:
нельзя
на людей жалеть
ни одеяло,
ни ласку.
Землю,
где воздух,
как сладкий морс,
бросишь
и мчишь, колеса, —
но землю,
с которою
вместе мерз,
вовек
разлюбить нельзя.

14

Скрыла
та зима,
худа и строга,
всех,
кто навек
ушел ко сну.
Где уж тут словам!
И в этих
строках
боли
волжской
я не коснусь.
Я
дни беру

из ряда дней,
что с тыщей
дней
в родне.
Из серой
полосы
деньки,
их гнали
годы —
водники —
не очень
сытенькие,
не очень
голодненькие.
Если
я
чего написал,
если
чего
сказал —
тому виной
глаза-небеса,
любимой
моей
глаза.
Круглые
да карие,
горячие
до гари.
Телефон
взбесился шалый,
в ухо
грохнул обухом:
карие
глазища
сжала
голода
опухоль.
Врач наболтал —
чтоб глаза
глазели,
нужна
теплота,
нужна
зелень.
Не домой,
не на суп,
а к любимой
в гости
две
морковинки
несу

за зеленый хвостик.
Я
много дарил
конфет да букетов,
но больше
всех
дорогих даров
я помню
морковь драгоценную эту
и пол-
полена
березовых дров.
Мокрые,
тощие
под мышкой
дровинки,
чуть
потолще
средней бровинки.
Вспухли щеки.
Глазки —
щелки.
Зелень
и ласки
выходили глазки.
Больше
блюдца,
смотрят
революцию.
Мне
легше, чем всем, —
я
Маяковский.
Сижусь
и ем
кусочек
конский.
Скрип —
дверь,
плача.
Сестра
младшая.
—Здравствуй, Володя!
—Здравствуй, Оля!
—завтра новоегодие —
нет ли
соли? —
Делю,
в ладонях вешаю
шепотку
отсыревшую.
Одолевая

снег
и страх,
скользит сестра,
идет сестра,
бредет
трехверстной Преснею
солить
картошку пресную.
Рядом
мороз
шел
и рос.
Затевал
щекотку —
отдай
щепотку.
Пришла,
а соль
не валится —
примерзла
к пальцам.
За стенкой
шарк:
"Иди,
жена,
продай
пиджак,
купи
пшена".
Окно, —
с него
идут
снега,
мягка
снегов
тиха
нога.
Бела,
гола
столиц
скала.
Прилип
к скале
лесов
скелет.
И вот
из-за леса
небу в шаль
вползает
солнца
вша.
Декабрьский

рассвет,
изможденный
и поздний,
встает
над Москвой
горячкой тифозной.
Ушли
тучи
к странам
тучным.
За тучей
берегом
лежит
Америка.
Лежала,
лакала
кофе,
какао.
В лицо вам,
толще
свиных причуд,
круглей
ресторанных блюд,
из нищей
нашей
земли
кричу:
Я
землю
эту
люблю.
Можно
забыть,
где и когда
пузы растил
и зобы,
но землю,
с которой
вдвоем голодал, —
нельзя
никогда
забыть!

15

Под ухом
самым
лестница
ступенек на двести, —
несут
минуты-вестницы
по лестнице

вести.
Дни пришли
и топали:
—Дожили,
вот вам, —
нету
топлив
брюхам
заводным.
Дымом
небесный
лак помутив,
до самой трубы,
до носа
локомотив
стоит
в заносах.
Положив
на валенки
цветные заплаты,
из ворот,
из железного зёва,
снова
шли,
ухватясь за лопаты,
все,
кто мобилизован.
Вышли
за лес,
вместе
взялись.
Я ли,
вы ли,
откопали,
вырыли.
И снова
поезд
катит
за снежную
скатерть.
Слабеет
тело
без ед
и питья,
носилки сделали,
руки сплетя.
Теперь
запевай,
и домой можно —
да на руки
положено
пять

обмороженных.
Сегодня
на лестнице,
грязной и тусклой,
копались
обывательские
слухи-свиньи.
Деникин
подходит
к самой,
к тульской,
к пороховой
сердцевине.
Обулись обыватели,
по пыли печатают
шепотоголосые
кухарочки хоры.
—Будет...
крупичатая!..
пуды непочатые...
ручки-чай,
сухари,
сахары.
Бли-и-и-зко беленькие,
береги керенки! —
Но город
проснулся,
в плакаты кадрованный, —
это
партия звала:
«Пролетарий, на коня!»
И красные
скачут
на юг
эскадроны —
Мамонтова
нагонять.
Сегодня
день
вбежал второпях,
криком
тишь
порвав,
простреленным
легким
часто хрипя,
упал
и кончился,
кровав.
Кровь
по ступенькам
стекала на пол,

стыла
с пылью пополам
и снова
на пол
каплями
капала
из-под пули
Каплан.
Четверолапые
зашагали,
визг
шел
шакалий.
Салоп
говорит
чуйке,
чуйка
салопу:
—Заёрзали
длинноносые шуки!
Скоро
всех
слопают! —
А потом
топырили
глаза-тарелины
в длинную
фамилий
и званий тропу.
Ветер
сдирает
списки расстрелянных,
рвет,
закручивает
и пускает в трубу.
Лапа
класса
лежит на хищнике —
Лубянская
лапа
Че-ка.
—Замрите, враги!
Отойдите, лишненькие!
Обыватели!
Смирно!
У очага! —
Миллионный
класс
вставал за Ильича
против
белого
чудовища клыкастого,

и вливалось
в Ленина,
леча,
этой воли
лучшее лекарство.
Хоронились
обыватели
за кухни,
за пеленки.
—Нас не трогайте —
мы
цыпленки.
Мы только мошки,
мы ждем кормежки.
Закройте,
время,
вашу пасть!
Мы обыватели —
нас обувайте вы,
и мы
уже
за вашу власть. —
А утром
небо —
веча звонница!
Вчерашний
день
виня во лжи,
расколоколивали
птицы и солнце:
жив,
жив,
жив,
жив!
И снова дни
чередой заводной
сбегались
и просили.
— Идем
за нами —
"еще одно
усилье".
От боя к труду —
от труда до атак, —
в голоде,
в холоде
и наготе
держали
взятое,
да так,
что кровь
выступала из-под ногтей.

Я видел
места,
где инжир с айвой
росли
без труда
у рта моего, —
к таким
относишься иначе.
Но землю,
которую
завоевал
и полуживую
вынянчил,
где с пулей встань,
с винтовкой ложись,
где каплей
льешься с массаами, —
с такою
землею
пойдешь
на жизнь,
на труд,
на праздник
и на смерть!

16

Мне
рассказывал
тихий еврей,
Павел Ильич Лавут:
"Только что
вышел я
из дверей,
вижу —
они плывут..."
Бегут
по Севастополю
к дымящим пароходам.
За день
подметок стопали,
как за год похода.
На рейде
транспорты
и транспортчики,
драки,
крики,
ругня,
мотня, —
бегут
добровольцы,
задрив порточки, —

чистая публика
и солдатня.
У кого —
канарейка,
у кого —
роялина,
кто со шкафом,
кто
с утюгом.
Кадеты —
на что уж
люди лояльные —
толкались локтями,
крыли матюгом.
Забыли приличие,
бросили моду,
кто —
без юбки,
а кто —
без носков.
Бьет
мужчина
даму
в морду,
солдат
полковника
сбивает с мостков.
Наши заседали,
крыли по трапам,
кашей
грузился
военный эшелон.
Хлопнув
дверью,
сухой, как рапорт,
из штаба
опустевшего
вышел он.

Глядя
на ноги,
шагом
резким
шел
Врангель
в черной черкеске.
Город бросили.
На молу —
голо.
Лодка
шестивесельная
стоит

у мола.
И над белым тленом,
как от пули падающий,
на оба
колена
упал главнокомандующий.
Трижды
землю
поцеловавши,
трижды
город
перекрестил.
Под пули
в лодку прыгнул...
— Ваше
превосходительство,
грести? —
— Грести! —
Убрали весло.
Мотор
заторкал.
Пошла
весело
к «Алмазу»
моторка.
Пулей
пролетела
штандартная яхта.
А в транспортах-галошинах
далеко,
сзади,
тащились
оторванные
от станка и пахот,
узлов
полтора
накручивая за день.
От родины
в лапы турецкой полиции,
к туркам в дыру,
в Дарданеллы узкие,
плыли
завтрашние галлиполийцы,
плыли
вчерашние русские.
Впе-
реди
година на године.
Каждого
трясись,
который в каске.
Будешь

доить
коров в Аргентине,
будешь
мереть
по ямам африканским.
Чужие
волны
качали транспорты,
флаги
с полумесяцем
бросались в очи,
и с транспортов
за яхтой
гналось —
"Аспиды,
сперли казну
и удрали, сволочи".
Уже
экипажам
оберегаться
пули
шальной
надо.
Два
миноносца-американца
стояли
на рейде
рядом.
Адмирал
трубой обвел
стреляющих
гор
край:
— Ол
райт. —
И ушли
в хвосте отступающих свор, —
орудия на город,
курс на Босфор.
В духовках солнца
горы
жаркое.
Воздух
цветы рассиропили.
Наши
с песней
идут от Джанкоя,
сыпятся
с Симферополя.
Перебивая
пуль разговор,
знаменами

бой
овевая,
с красными
вместе
спускается с гор
песня
боевая.
Не гнулась,
когда
пулеметом крошило,
вставала,
бесстрашная,
в дожде-свинце:
"И с нами
Ворошилов,
первый красный офицер".
Слушают
пушки,
морские ведьмы,
у-
ле-
петывая
во винты во все,
как сыпется
с гор
—"готовы умереть мы
за Эс Эс Эс Эр!" —
Начштаба
морщит лоб.
Пальцы
корявой руки
буквы
непослушные гнут:
"Врангель
оп-
раки-
нут
в море.
Пленных нет".
Покамест —
точка
и телеграмме
и войне.
Вспомнили —
недопахано,
недожато у кого,
у кого
доменные
топки да зори.
И пошли,
отирая пот рукавом,
расставив

на вышках
дозоры.

17

Хвалить
не заставят
не долг,
ни стих
всего,
что делаем мы.
Я
пол-отечества мог бы
снести,
а пол —
отстроить, умыв.
Я с теми,
кто вышел
строить
и мечь
в сплошной
лихорадке
буден.
Отечество
славлю,
которое есть,
но трижды —
которое будет.
Я
планов наших
люблю громадьё,
размаха
шаги саженьи.
Я радуюсь
маршу,
которым идем
в работу
и в сраженья.
Я вижу —
где сор сегодня гниет,
где только земля простая —
на сажень вижу,
из-под нее
комунны
дома
прорастают.
И меркнет
доверье
к природным дарам
с унылым
пудом сенца
и поворачиваются

к тракторам
крестьян
заскорузлые сердца.
И планы,
что раньше
на станциях лбов
задерживал
нищенства тормоз,
сегодня
встают
из дня голубого,
железом
и камнем формясь.
И я,
как весну человечества,
рожденную
в трудах и в бою,
пою
мое отечество,
республику мою!

18

На девять
сюда
октябрей и маёв,
под красными
флагами
праздничных шествий,
носил
с миллионами
сердце мое,
уверен
и весел,
горд
и торжествен.
Сюда,
под траур
и плеск чернофлажий,
пока
убитого
кровь горяча,
бежал,
от тревоги,
на выстрелы вражьи,
молчать
и мрачить,
и кричать
и рычать.
Я
здесь
бывал

в барабанах стучащий
и в мертвом
холоде
слез и льдин,
а чаще еще —
просто
один.
Солдаты башен
стражей стоят,
подняв
свои
островерхие шлемы,
и, злобу
в башках куполов
тая,
притворяются
церкви,
монашьи шельмы.
Ночь —
и на головы нам
луна.
Она
идет
оттуда откуда-то...
оттуда,
где
Совнарком и ЦИК,
Кремля
кусок
от ночи откутав,
переползает
через зубцы.
Вползает
на гладкий
валун,
на секунду
склоняет
голову,
и вновь
голова-лунь
уносится
с камня
голового.
Место лобное —
для голов
ужасно неудобное.
И лунным
пламенем
озарена мне
площадь
в сияньи,
в яви

в денной...
Стена —
и женщина со знаменем
склонилась
над теми,
кто лег под стеной.
Облил
булыжники
лунный никель,
штыки
от луны
и тверже
и злей,
и,
как нагроможденные книги, —
его
мавзолеей.
Но в эту
дверь
никакая тоска
не втянет
меня,
черна и вязка, —
души
не смущу
мертвизной, —
он бьется,
как бился
в сердцах
и висках,
живой
человечьей весной.
Но могилы
не пускают, —
и меня
останавливают имена.
Читаю угрюмо:
«товарищ Красин».
И вижу —
Париж
и из окон Дорио...
И Красин
едет,
сед и прекрасен,
сквозь радость рабочих,
шумящую морево.
Вот с этим
виделся,
чуть не за час.
Смеялся.
Снимался около...
И падает

Войков,

кровью сочась, —
и кровью
газета
намокла.
За ним
предо мной
на мгновение короткое
такой,
с каким
портретами сжились, —
в шинели измятой,
с острой бородкой,
прошел
человек,
железен и жилист.
Юноше,
обдумывающему
житье,
решающему —
сделать бы жизнь с кого,
скажу
не задумываясь —
"Делай ее
с товарища
Дзержинского".
Кто костями,
кто пеплом
стенам под стопу
улеглись...
А то
и пепла нет.
От трудов,
от каторг
и от пуль,
и никто
почти —
от долгих лет.
И чудится мне,
что на красном погосте
товарищей
мучит
тревоги отравы.
По пеплам идет,
сочится по кости,
выходит
на свет
по цветам
и по травам.
И травы
с цветами

шуршат в беспокойстве.
— Скажите —
вы здесь?
Скажите —
не сдали?
Идут ли вперед?
Не стоят ли? —
Скажите.
Достроит
коммуны
из света и стали
республики
вашей
сегодняшний житель? —
Тише, товарищи, спите...
Ваша,
подросток-страна
с каждой
весной
ослепительней,
крепнет,
сильна и стройна.
И снова
шорох
в пепельной вазе,
лепечут
венки
языками лент:
— А в ихних
черных
Европах и Азиях
боязнь,
дремота и цепи? —
Нет!
В мире
насилия и денег,
тюрем
и петель виття —
ваши
великие тени
ходят,
будя
и ведя.
— А вас
не тянет
всевластная тина?
Чиновность
в мозгах
паутину не свила?
Скажите —
цела?
Скажите —

едина?
Готова ли
к бою
партийная сила? —
Спите,
товарищи, тише...
Кто
ваш покой отберет?
Встанем,
штыки ошестинивши,
с первым
приказом:
«Вперед!»

19

Я
земной шар
чуть не весь
обошел, —
И жизнь
хороша,
и жить
хорошо.
А в нашей буче,
боевой, кипучей, —
и того лучше.
Вьется
улица-змея.
Дома
вдоль змеи.
Улица —
моя.
Дома —
мои.
Окна
разинув,
стоят магазины.
В окнах
продукты:
вина,
фрукты.
От мух
кисея.
Сыры
не засижены.
Лампы
сияют.
"Цены
снижены!
Стала
оперяться

моя
кооперация.
Бьем
грошом.
Очень хорошо.
Грудью
у витринных
книжных груд.
Моя
фамилия
в поэтической рубрике.
Радуюсь я —
это
мой труд
вливается
в труд
моей республики.
Пыль
взбили
шиной губатой —
в моем
автомобиле
мои
депутаты.
В красное здание
На заседание.
Сидите,
не советейте,
в моем
Моссовете.
Розовые лица.
Револьвер
желт.
Моя
милиция
меня
бережет.
Жезлом
правит,
чтоб вправо
шел.
Пойду
направо.
Очень хорошо.
Надо мною
небо.
Синий
шелк!
Никогда
не было
так
хорошо.

Тучи-
кочки,
переплыли летчики.
Это
летчики мои.
Встал,
словно дерево, я.
Всыпят,
как пойдут в бои,
по число
по первое.
В газету
глаза:
молодцы-венцы.
Буржуям
под зад
наддают
коленцем.
Суд
жгут.
Зер
гут.
Идет
пожар
сквозь бумажный шорох.
Прокуроры
дрожат.
Как хорошо!
Пестрит
передовица
угроз паршой.
Что б им подавиться.
Грозят?
Хорошо.
Полки
идут,
у меня на виду.
Барабану
в бока
бьют
войска.
Нога
крепка,
голова
высока.
Пушки
ввозятся, —
идут
краснозвездцы.
Приспособил
к маршу
такт ноги:

вра-
ги
ва-
ши
мо-
и
вра-
ги.
Лезут?
Хорошо.
Сотрем
в порошок.
Дымовой
дых
тяг.
Воздуха береги.
Пых-дых,
пых-
тят
мои фабрики.
Пыши,
машина,
шибче-ка,
вовек чтоб
не смолкла, —
побольше
ситчика
моим
комсомолкам.
Ветер
подул
в соседнем саду.
В ду-
хах
про-
шел.
Как хо-
рошо!
За городом —
поле.
В полях —
деревеньки.
В деревнях —
крестьяне.
Бороды
веники.
Сидят
папаши.
Каждый
хитр.
Землю попашет,
попишет

стихи.
Что ни хутор,
от ранних утр,
работа любя.
Сеют,
пекут,
мне
хлеба.
Доют,
пашут,
ловят рыбицу.
Республика наша
строится,
дыбится.
Другим
странам
по сто.
История —
пастью гроба.
А моя
страна —
подросток, —
твори,
выдумывай,
пробуй!
Радость прет.
Не для вас
уделить ли нам?!
Жизнь прекрасна
и
удивительна.
Лет до ста
расти
нам
без старости.
Год от года
расти
нашей бодрости.
Славьте,
молот
и стих,
землю молодости.

1927